

## ИЗ ПОЛЕВОГО БЛОКНОТА

Л.Ф. МИРОНИХИНА  
(Москва)

### УСТНЫЕ РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СОВРЕМЕННОМ БЫТОВАНИИ

Еще в 60-е гг. XX в. разгорелись споры о природе устных рассказов: их художественности и публицистичности, принадлежности к фольклору или к литературе. «Современные рассказы – не художественные организмы... Значение их чисто документальное», – писал Л.Н. Емельянов [Емельянов 1960, 262]. Ему возражали фольклористы, считавшие устные рассказы полноценным жанром фольклора: «Устный рассказ – это самостоятельный жанр, имеющий свои художественные особенности, в пределах которого существуют разные виды. Говорить о художественности можно лишь по отношению к конкретным произведениям, а не применительно к жанру в целом» [Домановский 1964, 194–195]. Эти споры, несмотря на обилие интересных аргументов и наблюдений с обеих сторон, так и не привели к единому мнению: определение жанровой природы многих устных рассказов и сейчас остается «делом весьма затруднительным и подчас спорным» [Домановский 1964, 234].

С тех пор границы фольклора заметно расширились. Никто больше не спорит, стоит ли записывать и изучать устные рассказы, ставшие столь распространенными в репертуаре и города, и деревни. Проблема определения жанра устных рассказов, оказавшись в обширном ряду других обсуждаемых вопросов, утратила свою остроту.

Устные рассказы «во всем многообразии их проявлений – случаи, смешные истории, семейные предания, байки о знакомых, рассказы о необычных происшествиях, пересказы и толкования снов, чудеса, слухи, tolki и даже сплетни – составляют существенную часть речевой повседневности» [Веселова 2003, 534]. Перечень видов устных рассказов можно дополнить – это и мемуары, новеллы; рассказы о жизни, о коллективизации и раскулачивании, о войне.

Некоторые рассказы-воспоминания можно с полным правом отнести к «семейной исторической прозе» [Разумова 2003, 574], передающейся, как правило, в устной форме и очень редко записываемой для детей и внуков. «Устные рассказы разных жанров – самая значительная часть фольклорного репертуара большинства семей. Памятные случаи – страшные, смешные, любопытные – связаны с прошлым и настоящим... <...> У каждого поколения с учетом пола своей репертуар. <...> Рассказы часто адресуются детям и имеют воспитательное направление» [Разумова 2003, 578–579]. Рассказы о войне составляют лишь малую часть этого огромного текстового материала. Они могут органично вплетаться в воспоминания о жизни, или, что встречается сравнительно редко, бытуют самостоятельно. Как правило, это очень личные, «домашние» воспоминания. В последнее время часто приходится записывать рассказы о войне не от самих участников событий, а от их детей и внуков, поскольку поколение людей, переживших войну, уходит.

К устным рассказам примыкает целый пласт письменных текстов-воспоминаний о войне, относящийся к жанру «наивной литературы» и являющийся «значительным по объему, но почти совершенно не освоенным исследовательской рефлексией слоем народной словесности» [Неклюдов 2000, 2]. С.Ю. Неклюдов допускает, что иногда произведения «наивной литературы» могут быть надиктованы собирателям или родственникам, а не записаны самим информантом. Как правило, тексты авторов «из народа» ориентированы на литературные (а не на устные) образцы. Во многих воспоминаниях чувствуется сильное влияние идеологических и речевых штампов, пришедших из газет, радио, телевидения, официальных документов [Минаева 2003, 70].

За десятилетия, прошедшие после окончания Великой Отечественной войны, рассказы очевидцев претерпевали значительные изменения. В 1950-х – 1960-х гг. собиратели чаще всего записывали повествования о страданиях мирных людей, очутившихся «под немцем», о зверствах фашистов. Среди наих записей тоже есть рассказы о карательных отрядах, о сожженных деревнях, расстрелах (например, в д. Ямное Калужской обл. немцы за одного убитого солдата сожгли в сарае все мужское население деревни – от подростков до стариков). В 1980-е – 1990-е гг. стала приоткрываться человеческая, бытовая сторона войны. Начало этому процессу положили художественная и документальная лите-

Из полевого блокнота



тура, телевидение, театр. Постепенное внутреннее раскрепощение сказалось и на традиции устных рассказов о прошлом, которое с более далекого расстояния часто видится как иская хаотическая, не-постижимая уму действительность. Так, например, в рассказе о нападении партизанского отряда на деревню партизаны убивают полицая-руssкого и предлагают немцу-врачу уйти с ними в лес.

Образ злого немца – убийцы и насилинико, виновника пережитых страданий – сложился в народном сознании еще в годы войны. Он был необходим, поскольку в такого немца было легко стрелять, полностью отбросив мысль, что он тоже чей-то отец, сын, что его тоже ждут дома и пришел он на чужую землю, скорее всего, не по своей воле. Эта мифологема как олицетворение ужасов войны долго жила в памяти и в послевоенные годы. Тогда рассказы о войне для многих строились по одной простой схеме «черное – белое»: страдания наших людей в оккупации и зверства фашистов.

Хотя народное сознание часто активно сопротивляется мифологемам, созданным государственной идеологией, женщины, пережившие оккупацию, часто не решались рассказывать посторонним, что и среди немцев встречались разные люди, в том числе и хорошие. Помню, как поразили нас, собирателей, эти новые нотки в рассказах о войне женщин, потерявших мужей, сыновей, братьев, но не ожесточившихся, не возненавидевших непрошенных гостей. Подумать только: они жалели своих «постояльцев», которые любили рассказывать им о семьях, родном доме, показывали фотографии детей. Фекла Ивановна Герлюк (д. Мамоновка Куйбышевского р-на Калужской обл., 1910 г.р.), от которой я вела запись в течение нескольких лет – с 1985 по 1990 гг., рассказывала, как постепенно из сплошной серо-зеленои массы немцев стали выделяться отдельные лица, напоминающие ей чертами то мужика из соседней деревни, то известного киноактера. И вдруг ее поразила неожиданно пришедшая мысль: «А ведь они тоже, пожалуй что, и люди!». С этого дня многие немцы перестали быть для нее «мифологическими персонажами», олицетворяющими только зло и насилие. Сердобольные русские женщины вспоминали: «А немцы сами были вшивые, грязные, голодные. Война, она ведь никому добра не приносит, голод, холод да болезни только... Страшно, всем было страшно – и нам, и им. Помирать никто не хочет. Всем хочется жить, и немцам-то ведь тоже. Какой немец скажет: "Матка, она, война, нам-то ни к чему, это ваше начальство с нашим начальством дерутся, а нас бьют!" (зап. в 1987 г; ГИ. Власовой от Екатерины Егоровны Голубковой, 1909 г.р., в д. Хатожа Куйбышевского р-на Калужской обл.).

Тамара Петровна Н., 1926 г.р., из Калужской обл., прожила два года в оккупации. После освобождения их района осенью 1943 г. она работала в госпитале. Сейчас Тамара Петровна, ветеран войны, ежегодно выступает перед школьниками с воспоминаниями. Для нее рассказы о войне как бы делятся на две группы: официальные, предназначенные для публичных выступлений в школах, для публикаций в газетах к памятным дням (9 мая и 22 июня), и

домашние. Только со своими близкими она говорит о жизни в оккупации, о взаимоотношениях с немцами. Ей бы и в голову не пришло рассказывать школьникам о немце-враче, который во время эпидемии скарлатины лечил детей в их деревне. Информантка даже не позволила записать свои «семейные» рассказы о войне на dictaphone, хотя долго не могла собраться с мыслями и объяснить почему. На конец, сказала нерешительно: «Нехорошо это: у людей погибли мужья, отцы...».

Записывая рассказы о жизни и войне более двадцати лет (а в последние годы целенаправленно только этот жанр), я собрала небольшой архив. Он содержит в основном воспоминания о том, как женщины с детьми два года жили рядом с немцами, порой под одной крышей с ними. Сегодня, по прошествии нескольких десятилетий, всплывают все новые бытовые и жизненные подробности этого странного, драматического существования – горой трагические, порой забавные. Становится заметно, как преодолевается в сознании рассказчиков диктат штампа, внутренних и внешних запретов. Из плана идеологического устные рассказы о войне, очевидно, переместились в план бытовой, что расширило границы правдивости и достоверности рассказов о прошлом.

Возможно, не все устные рассказы о войне можно назвать произведениями фольклора, но многие, несомненно, имеют большую историческую ценность как «живые свидетельства» людей, переживших войну. Это правдивые и «бесхитростные» простонародные рассказы о войне, которые находятся на границе литературы и повседневного языкового общения» [Кожинов 1964, 100].

В настоящей публикации приведется несколько текстов, записанных летом 2003 г. в г. Рославль Смоленской обл. от Веры Архиповны Николаенковой. Публикуемый материал лишь часть воспоминаний Веры Архиповны, которыми она делится только с близкими людьми, детьми и внуками.

Вера Архиповна Николаенкова родилась в апреле 1925 г., окончила 7 классов, война помешала ей получить среднее образование. С сентября 1941 по сентябрь 1943 г. деревню Краснополье, в которой жила исполнительница, оккупировали немцы (именно к этому периоду и относятся воспоминания). После войны Вера Архиповна работала на ткацкой фабрике в Ленинграде, помогала матери кормить младших братьев и сестер, платить налоги. Через несколько лет она вернулась домой, вышла замуж, родила четверых сыновей.

Вера Архиповна – замечательная рассказчица. Ее язык удивительно живой, органичный, непосредственный, без речевых штампов и клише. Даже драматические ситуации она воспринимает с юмором и иронией.

При расшифровке магнитофонных записей и подготовке текстов к публикации задача буквального воспроизведения всех особенностей устной речи исполнительницы не ставилась. Мы стремились к точной передаче диалекта лишь на лексическом уровне, руководствуясь общими требованиями к публикациям текстов воспоминаний в журналах и газетах.

[Партизаны]<sup>1</sup>

Два года при немцах мы и рожь сеяли, и гречиху и лен – всё сеяли. И мы сразу полоски поделили, нам поделили, выбрали старосту в деревне. Поделили по едокам, у кого только два человека, тем меньше давали. У кого большая семья, больше сеяли. И каждый на своей полосе пахал и сеял. Мельницы же не было, так вот, делали такие деревянные жернова, одна колода и другая, в нижнюю колоду набивали чугунные черепки, и в другую так. Потом такая жердь длинная, в потолок, вертишь ее, вертишь, тяжело! Ну, конечно, не такая мягкая мука получалась, ну ничего – ели! Ячневую крупу мололи, рожь.

Дом наш не сгорел, но есть было нечего. Мы перед тем как отступили немцы всё жито свезли на гумно, весь хлеб. Я шесть мешков набила жита этого, в ямку закопали. И всё откопали! Гумно сгорело наше с хлебом. Мы пришли с лесу, у нас ничего не осталось хлеба. А была у нас корова и подтелок. И мы соседке продали эту телку за 30 пудов хлеба. У нее цел весь хлеб остался. Вот этим мы и жили. Восемь душ семья была, шесть детей, бабка и мамка.

Партизан было много. И партизан и дезертиров, каждую ночь приходили в деревню, пока немцев не было. А потом у нас долго стояли немцы по хатам, тогда ходить перестали. Как-то летом поехала я за сеном. Наша делянка далеко за речкой была. Наклала я воз, увязла. Конь здоровый был, серый такой. Никого уже не было, уже дело к вечеру было. И только стала с обрыва к речке спускаться, конь – дёр! Хлоп – оглобля напополам! Что ж делать? В лесу одна, ни топора,ничёго нету. Стою, плачу одна, уже темнеет. Думаю, сейчас сгружу это сено, отпрягу коня и поведу домой, нехай всё тут остается. Вдруг слышу – свись, свись! Ой, кто это? Вижу, от леса идут двое. Подходят.

– Что ты, девочка?

Я говорю:

– Оглобля сломалась, застрияла я.

Они:

– Мы тебе поможем.

Свистнули – еще двое подходят. Телегу мою вытянули, оглоблю мне сделали – палку срубили, веревку отрезали от вожжей, связали. И говорят:

– Ну ладно, мы тебе сослужили услугу, теперь ты нам сослужишь.

– А что я вам сделаю?

– Вот, отвезешь одного человека в деревню.

– Я только недавно плеток получила, что записку передала. Ладно, что не застрелили. Не-не-не! – я говорю.

<sup>1</sup> Названия рассказов в квадратных скобках даны собирателем.

– Не некай, никуда ты не денешься, – он мне говорит.

Залезает на воз, закапывается в сено.

– Твоя задача – только не скидывай воз, приедешь на двор, поставь. Больше тебе ничего не надо делать.

Еду по деревне... Не еду, а иду, конь за мной. Я ж на воз не залезу, там же человек сидит в сене. И будто слышу – шух, шух, шух, слышу, как моя юбка шумит, как будто ветер у меня в ногах, вся в напряжении, на нервах. Думаю, сейчас выйдут эти, немцы ж в деревне были и полицаи. Скажут:

– Где ты так поздно была?

Приезжаю на двор, мамка и говорит:

– Ну давай скинем сено, а то вроде дождь, намочит.

А я:

– Не надо, нехай стоит до завтра! У меня оглобля поломалась, видишь, я три раза это сено скидала, снова накладала.

Набрехала ей. Я ж не могла ей сказать – там человек у сена. А они мне сказали – никому ни слова, даже своей матери. Прихожу в хату, мать говорит:

– Садись вечерять.

А я:

– Не хочу я, заморилась, намучилась.

Мамка спрашивает:

– Что с тобой такое?

Сено не стали скидывать, легли. Я хоть бы заснула на минуту! Полезла на печку, это летом! Меня всю трясут, замерзла, прислушиваюсь. Два раза в сени выходила, нигде не чутно, не стреляют. Думала, увидят его – будут же стрелять да придут к нам.

Наутро выхожу, полезла сено скидывать, распогодилось. Влезла на телегу, только ямка в сене, – никого нету... У меня аж легче на душе стало. Мамка говорит:

– Да что это с тобой?

– Ой, мам, только ж ты гляди... Ты знаешь, что мне было за это, что я похвалилась.

Мы сено сгребали у самого леса. И вот человек какой-то попросил снести записку нашему старосте. Он, видно, работал на партизан. А я Сашке похвалилась, что мне записку передали. А она разболтала. Меня немцы отпустили. Ладно еще, что били свои, которые знают уже нас, по-войскам били: раз по мне, раз – по доскам. И то кофта вся расплодилась вот здесь. И рубцы были годов пятнадцать. Две раза только плетками стебанули. А как бы две-надцать, что мне присудили, так бы и кости были видны.

Другой раз поехала. Нема нигде никого. Спокойно я сено убрала. Приезжаю, рассказываю мамке. Она:

– Ай-яй-яй! Ну его к черту тёбе сено, да нехай бы оно...

Да, нехай бы оно! Там же осталось еще две копни! Кто ж нам его привезет? Мамка говорила:

– Не едь ты за ним, нехай стоит до осени.

А я говорю:

– Ага, пока сгниет!

Поехала в другой раз, всё сено наклада. Всё спокойно. Только не поехала через речку, а кругом, на дорогу. Так и привезла. А кто это был, куда он ехал, так и не узнала. Значит, какой-то связной был. Тут же были пленные – и в партизанах, и тут. Так что было страхи...

[Гитлер-йуда]

Один немец зашел к нам. Еще только немцы наступали, только пришли в деревню. Висит портрет Сталина. Он хвать его и так дирь, разорвал. А я говорю:

– Ну зачем портрет так? Что он, виноват?

А он говорит:

– Сталин – йуда.

Ну а я, знаешь... Язык же без костей. Еще никого не видела, не знала, что такое... Возьми и ляпни:

– А нам говорят, что Гитлер – йуда.

Он-то не поняв, что я сказала по-русски, а что «Гитлер – йуда», это он понял и цап за пистолет! И тут переводчик на порог:

– Что такое? Что здесь?

Я говорю:

– Он порвал портрет и сказал, что Сталин – йуда, а нам говорили, что Гитлер – йуда.

Я ему так. Он говорит:

– Ну зачем ты так сказала? Ты ж ничего не знаешь...

И он ему так перевел:

– Она говорит, им коммунисты говорили, что Гитлер – йуда, а она сама откуда знает, она еще девочка, ребенок.

«Вав-ва-вав...», – он залопотал что-то, машинал, пистолет на место и пошел с хаты. А то б он мене и прихлопнув.

[Как меня чуть не угнали в Германию]

Меня было угнали у Германию. Уже в Понетовку погнали на комиссию. Я хотела утопиться. Даже пошла на речку, всё! Утоплюсь. Посидела на берегу. Не, страшно... А был такой закон: если за полицейского выдешь за муж, тебе не угонят в Германию. У мамы был двоюродный брат. Его забрали в полицию. Только числился, а пятно на всю жизнь. Он говорит:

– Вера, пойдем с тобой, я скажу, что ты за меня замуж выходишь.

Ну приходим туда, где волость была, называлась волость, в Понетовке. Мы приехали из Краснополья на коне. А тут был уже этот

54 самый бургомистр, он моему батьке друг. Ког-

да-то они вместе на охоту ходили. Он жил тут через речку, Давыдовка когда-то у нас деревня была. Он меня узнал и говорит ему:

– Что ты?

– Да вот, зарегистрироваться хотим.

– Ну ладно, я вам пачкать документы пока не буду, хоть и немецкие у вас паспорта, – у нас же немецкие были паспорта, давали немцы всем паспорта. – Я вам пачкать документы не буду, дам вам справку такую, что вы... и езжайте домой.

На меня говорит:

– Ты что, хотела у Германию поехать?

А я говорю:

– Ага, очень хочу, я вчера хотела утопиться, да побоялась.

Он говорит:

– Не надо топиться,ничёго...

Ну вот, едем оттуда, он на меня, этот парень:

– Ну как, жена, куда поедешь, домой или ко мне жить?

– Иди, – говорю, – черт, какой ты мне муж?

Приехали, он – мамке:

– Что, тёща, везу твою дочку назад, не отдал у Германию.

А она:

– Ой, не смейся, не надо коло нас смеяться. Спасибо, что выручил.

Он говорит:

– Только ж ты не говори никому, что это всё фиктивно, а то заберут опять.

Вот так. Которых забирали девчонок, вернулись. Одна наша попала туда и вернулась. Говорила, очень плохо было. Работали на какой-то фабрике они там, очень тяжело было, работали помногу часов и наголодались. А потом ее выбрал какой-то хозяин. Понял, что она из деревни, умеет всё делать. И пахала она там, и всё делала. Говорила:

– Очень хорошие были люди, эти немцы, жалели, говорит, меня.

Она же не понимала этого языка. Так они мне всё, говорит, на примерах показывали. А потом уже старик-хозяин, куда ее взяли, тот немного понимал по-русски. Тогда уже, говорит, последний год мне неплохо было. Тогда уже я была сыта. Даже и девкам носила хлеба украдкой. А жила она там же, где они все жили, в какой-то казарме, в сарае. Говорила, даже на поле есть приносили, когда на поле работала. Тогда уже было неплохо. А на фабрике было плохо. Одна она попала из деревни у Германию. Никто за нее не заступился.

[Они понимали много по-русски]

В войну ходили прядь к соседке, к Кате Павлюченковой. Они же удвух со старухой жили, а у нас семья большая. Она говорит:

— Деточки, приходите к нам, прядите тут.  
А пряли... Там вот стоит коптёлочка, горит, а тут вот придешь. Что там видишь впопыхах, всё на ощупь.

Вот заходит немец. Высокий, молодой такой, красивый. Заходит, поклонился:

— Здъястый! — так то. А я говорю:

— Ой, вот уж сказал, промямлив. Черт карташ.

Я ж думала, он ничего не понимает. А им скажи «черт», это лучше, не знаю, ударь его! Ихнее самое ругательное слово. Да! Он молчит. Прошел. Так перчаткой смел табуретку и сел. Я говорю:

— Еще сметает, садится! Набить бы гвоздей, чтоб сел и прикипев.

Вот так сидим и между собой разговариваем и смеемся. И он хохочет. Я говорю:

— И хохочет, как дурак, — на его.

Потом он прошелся. Взял зеркало иглядит. Глядит на себя. Я говорю:

— Как баран на новые ворота. Глядит у зеркало, выкатил глазища, как кот яйца, — я на него. У нас в деревне поговорка такая была: «выкатил глаза, как кот яйца». И опять свое дело делаю.

Он посидел и пошел. Пошел, открыл дверь, заулыбался:

— До сви-да-ния.

А Божа мой! Как он сказал так, мы и замерли. Я говорю:

— Катя, ей Богу, он по-русски понимает.

А она:

— Не будешь трепаться, ты думаешь, тебе так это...

Да. Ну ладно. Проходит день-два. Приходит он опять:

— Зд-ра-встуйте.

Берет табуретку и говорит:

— Гвоздей вы здесь не набили?

Мы и обомлели. А я:

— Да не, не набили.

А зеркало берет и говорит:

— Неужели у меня глаза, как у кота яйца?

Все мои слова повторил. Нам уже не до смеху, а он хохочет. А мы сидим: ой, что ж нам теперь будет? А он подошел ко мне, наклонился, так меня по голове погладил и говорит:

— Никогда не говори так, немецкие солдаты многие по-русски знают.

А я говорю:

— Это ж шутка, мы пошутили.

— Это я принял за шутку, а другой не примет, — он говорит.

Боже мой, с тех пор я никогда... Так что, они были умные, они понимали много по-русски.

### [Немецкий доктор]

Всякие были немцы. У нас был немец-врач. Ой, какой был добры! Иде в деревне где дин

тёнок заболеет или кто — он всегда идет, Ганс этот.

И вот когда немцы уже отходили, партизаны напали на деревню, ночью. Полицейские все ушли в партизаны. Кто не шел, Паскурат этот, такой был вредный, — застрелили его, Лешку этого. И немца одного зарезали. Вот сюда ножом ему вдарили (показывает сзади, в шею. — Соб.). Он как сидел за столом, писал, так и ткнулся лицом. А этого Ганса они не тронули, они ему сказали:

— Ганс, пойдешь с нами? У партизаны? Мы тебя не обидим и в обиду никогда не дадим. Ты — добрый человек. Не хочешь с нами, пожалуйста, — на все четыре стороны. Иди, куда хочешь.

Он постоял и говорит:

— Знаете что, ребята! Я б пошел с вами, конечно лучше. Но если я пойду с вами, здесь завтра деревня сгорит и люди погибнут, — потому что немец лежит зарезанный, за им же приедут.

А в Шумячи ж в комендатуру сообщили. Он говорит:

— Я пойду в Шумячи.

И вот он пошел в Шумячи. Пешком сошел за ночь, а назавтра пришел такой уже белый, как ты да я (рядом сидела старушка-соседка. — Соб.). Поседел за одну ночь. И говорил: «Я столько за всю войну не пережил, как за эту ночь». Он боялся за нас за всех. И своих боялся, что как бы ему там в комендатуре... Говорит: «Поверят мне или не поверят, или меня за предателя посчитают: почему его убили, а меня нет?». Он там, в комендатуре, сказал: «Я в огород успел выскочить, в огороде спрятался, меня не нашли, темно было ночью».

Приезжают из комендатуры. Четверо их было, эсэсовцев этих, здоровые, на машине, за немцем этим, убитым. А нас гоняют со всей деревни, подходят сюда, к дому этому, где этот немец лежит. И по-своему лепечут, ему говорят, чтоб перевел: погрузить надо его в машину. А я ж покойников сроду не видела. Да еще за немца за мертвого браться — ой-ё-ё! Мне говорят:

— Не показывай вида, берись за брезент, не берись за него.

Они такую плащ-палатку привезли, усектили его. А там крови было в хате, лужа на полу по колено, наверное. Здоровый был немец, полный, килограммов на сто, наверное. А сами они его не несли. А на что он им надо, руки пачкать?

Мы его волоком приволокли к этой машине, силы-то нету, какие у нас были силенки, у девчонок? Тогда мужики подошли, тут два пленных было в деревне, помогли погрузить его на машину. Я говорю:

— Ну, девки, щас нам тут будет капут, стойте!

И вот он, главный там был немец, посчитал, сколько нас человек. Десять. Принесли десять буханок хлеба. Дал каждому по буханке хлеба. Сказал:

— Спа-си-ба!

Сказал, что помогли мы. Да. Он же им доказывал, Ганс, что люди не виноваты, ночью все спали. Нашли партизаны, большой отряд откуда-то с Брянщины, переходили в другое место.

— А где ж эти все полицаи? — они его спрашивали.

— А они разбеглись кто куда, здесь же все местные, — мол.

И всё. Ну они ему и поверили. Что они там, разбираться будут? А этого Скураты кинули, никто его не взял. Они говорят:

— Он местный?

— Местный.

— Скажите в его деревню, пусть за ним приедут.

А он в немецкой одёже. Этот Скурат тут неделио лежит, тута на горке, где сейчас Шурпик живет, а раньше Сысоев жил Павел. Лежит, уже покернел весь. Да, убитый. Он всю ночь кричал, ему сюда в плечо прострелили, он с крови сошел. Кричал, никто из деревни к нему не подошел. Ой, вредный был, ой! Он всё немцам на каждого доносил. Только скажи слово — тут же доложит. И я из-за него получила плеток. Вот и свой! Ага.

Лежит на улице. Накрыли его бабы как-то тряпкой, скатеркой старой. Тут отряд идет немцев, отступали уже. Приехали эти немцы, поглядели, что форма немецкая и он такой рыхий, светлый. Они поглядели и говорят:

— Немецкий солдат.

И нас всех согнали со всех концов, построили в три ряда. И не так, чтоб затылок в затылок, а наискось, и два пулемета наперед нас поставили... И на допрос в контору вызывают, в эту, в хату. Сначала эту, Ефремову дочку. У нее пальто с немецкой шинели пошито было. И вот они глянули, что одежда такая, — вызывают ее. Спрашивают — так и так.

— Я ничего не знаю, я на том краю живу, тут что-то стреляли ночью, я не знаю, кто тут был ночью.

А он только и знает:

— Партизан, партизан.

Переводчика-то нету. Он думал, что тут, в деревне, партизаны. Да. Ее допросили. Вызывают этого, Кармалюку, а он пьяный. А он пьяный, как стал им плести, он думал, так это всё. А он ему как дал под зубы, только зубы — лязь!

— Говори правду! Сейчас третьего вызывают, не говорите правду, будете все здесь лежать!

Ну вот. Мы говорим:

— Это полицай!

А он:

— Нет, это немецкий солдат.

И вот только сказал, уже последний человек оттуда выходит. Они уже... Нас бы всех постреляли. И тут сестра этого Скураты с оттуда, с Кирятинок, приехала.

— Девочки, ты правда, что Лёшку убили?

Мы говорим:

— Вот он лежит, погляди.

Она подошла и заголосила, бросилась на него. А немец:

— Вас? Что такое? — спрашивает.

А мы говорим:

— Это его сестра, это полицай.

Она говорит:

— Это мой брат, полицейский. Дайте мне коня свезти его в деревню, похоронить.

Он:

— Полицейский? Тыфу, швайн, свинья, — плонул. — Тыфу, швайн, — и на нас: — Гап! Уходите!

Мы — кубарем, кто ползком, кто как, разбеглись все: сейчас застрочить из пулеметов вслед. А он повернулся и пошел — бери, вези его как хочешь в деревню. Так она его за деревню вывезла, ямку выкопала, его положила, скатеркой накрыли, да и засыпали. Когда освободили нас, тогда они приехали с гробом, забрали и похоронили его в Кирятинках.

Вот такие были страхи в войну.

#### Рассказ о чудном немце

Едет большой отряд немцев. Они и в Зaborье стояли, и в Краснополье. И вот заходят к нам в хату двое, не к нам, а к Кате. Один молодой и другой здоровый такой немец. Поглядел, говорит:

— Здесь! Матка, сколько у вас семья?

Она говорит:

— А вот две девки тока соседки. Да мы удохов.

— Хорошо, здесь!

Как его, адъютант, ставит какую-то плитку, раскладывает ее, кладет туда таблетку. Это спирт. Ставит варить, готовить. Да. А он вышел во двор, а там поросенок бегает, ну пуда на три, может, на четыре, такая свинушка. А он говорит:

— Матка, почему свинью не забили? — говорит по-русски плохо, но можно понять.

Мы говорим:

— Соли нету.

— А сколько надо соли?

Я говорю:

— Пуд.

Он постоял...

— А сколько это, пуд?

Я говорю:

– 16 килограмм.  
– А!  
Килограммы – это он знает, сейчас говорят:

– Матка, дай мешок.

Мы дюже знаем, на что ему мешок. Тетка дает ему какой-то рядной мешок, тогда всё было свое, из льнянинны. Пошел. Вот прёт солдат этот соли, мешок за плечами. Ои:

– Матка, забивайте свинку, а то сейчас будет идти карательный отряд, заберут всё. И вас угонют всех, чего вы сидите?

– Мы собирались у Германию ехать.

– Да, вы там нужны, у Германии! Только вас там не хватало, – он говорит, – вы далеко не уедете, у вас отберут всё. А где ваши лошади, где ваши коровы?

Мы говорим:

– А угнали ваши солдаты.

А на самом деле вся скотина уже давно в лесу была. Уже согнали за хутор, в болота всех гуртами. Там ребята ночевали и глядели скот. Сходят бабы, подоют тайком...

Он меня спрашивает:

– Ты в школе училась?

– Училаась.

– Сколько классов?

Я говорю:

– Семь.

– Немецкий язык знаешь?

– Ага, – я говорю, – знаю!

Меня один раз немец чуть не застрелил, что я сказала «дункерль» вместо «дунке». Ходил к нам по вечерам один немец. Придет, и сидит, и сидит. Мы придем, а он глядит. Уже темно, нам спать надо ложиться, а он не уходит. Я ему показываю на окна и говорю:

– Пан, поздно уже, дункерль, мы спать хотим.

А он как вскинется:

– Вас?

А по-немецки «дункерль» – это черт, а для них это самое страшное ругательство, ты его лучше ударь, чем чертом назови.

Он говорит:

– Идите на лес.

Не «в лес», а «на лес». Мы говорим:

– Мы спрашивали у своих, власовцев, – власовцы тут шли – идти нам в лес или нет? Они нам сказали: «Вы что! Немец идет по болотам и по лесам, нигде не спрячется, едьте в Германию».

А он говорит:

– Немец не успевает по дорогам уходить, не то что по лесам и по болотам. Только вы об этом никому не скажите. Я – главный начальник этого отряда, так меня завтра вон там повесят, на этом столбе, если узнают, что я так сказал. Это ж предательство, нельзя. Но мне вас жалко.

Мы говорим:

– Пан, ну застрелите свинку.

– О-о, нет. Я восемь лет воюю, у меня есть сын. Мальчик, – фотографию нам показал. – Это я его только на фотографии вижу, я его еще не видел. Я восемь лет уже на войне, но я никого не убил.

Мы говорим:

– Ну свинку ж можно убить, что такое?

Впустили ее в коридор.

– Застрелите!

Ну. Он вышел. Он, видно, зажмурившись стрелял и сюды ей ухо прострелил. Она как заверещала! Он как ускочив в хату. Схватил матрас с кровати, полушки, в угол забился. накрылся, лежит. Пришел пленный, жил рядом, они были сами с Темкинского района. Зарезал эту свинку. А я говорю:

– Господи, ты жив этот пан? Не слышно его, что-то он и не шевелится.

Заходим в хату, он один глаз открыл, глянул... Я говорю:

– Пан, капут поросенку, уже все.

Он голову поднимает:

– Ай-я-яй, как жалко!

Я говорю:

– А людей убивать не жалко?

А он обиделся:

– Я никого не убивал, а война есть война, бывают и ваших и наших. А ваши придут в Германию, еще и не то будут делать, – это он нам так говорил!

И вот забили эту свинку. Он вышел, поглядел, что мы палим.

– Ой, зачем так? Это грязь! – что черная она, грязная. Он говорит: – Вот в Германии так – кипятком, горячей водой, сало беленькое.

Мы говорим:

– Зато шкурка крепкая, а наша мягонькая, ваши шпик есть нельзя, в нем шкура крепкая.

– А шкуру есть нельзя, – он говорит.

Вот опалили эту свинку, вымыли, разрезали. Склали в кубель<sup>2</sup>, посолили. Он говорит:

– Сыпьте соли много.

Мы говорим:

– А куда ж нам теперь сало это?

Он говорит:

– А закопайте его в яму.

Мы говорим:

– О, немцы откопают всё.

Он говорит:

– Идите сюда! – позвал нас. Капуста там сидела в огороде, уже большая. Вот так он отметил лопатой (квадратом), говорит: – Вырывайте!

<sup>2</sup> Кубель (запд., пск., твр., кал.) – кадушка с крышкой, вместо сундука [Даль 1989, 210].

Мы вырыли ровненько, в кучку склали. Он ямку большую выкопал, кубел поставил. Скатеркой накрыла тетка, чтоб песок же не сыпался.

— А теперь закопайте.

И капусту эту снова посадили и полили, чтоб она не завяла в этот день. И ровненько граблями заставил весь огород, всю эту капусту поскородить<sup>3</sup>. Пришли мы из леса: все ямки откопаны, а эта нет.

А тетка стала ему давать:

— Пан, на тебе сала, мяса, яичек.

— Матка, ничего не возьму. Я сегодня поел, завтра буду жив — и завтра поем. А война, может, меня завтра... Может, вы подумали, что я из-за этого... Ничего не возьму!

Вот какие были немцы! Показал нам свою семью (фотографию. — Соб.). Говорил:

— У меня восемь коров, — сколько там у него коней, сколько земли. — Зачем мне эти ваши болота, Россия? Что мы, хотели этой войны? Это Гитлер хотел. Вот пусть бы он со Сталиным воевал.

Я говорю:

— Как петухи бы сошлись и дрались, а мы бы их палками разгоняли.

Он хохочет! Мы всю ночь с ним проговорили. Тетка даже сердилась:

— Ти скоро вы ляжете спать?

А нам интересно. И он с нами, с девчонками, разговаривал. Говорит:

— Не все немцы плохие, не все русские хорошие. Придут ваши в Германию, еще и не то будут делать.

А утром они рано уезжали. Он подошел к печке, мы с Катей на полку спали, вот так меня по голове (потрогал. — Соб.) и говорит опять:

— Идите на лес.

Он нам показывал фотографии, письма, откуда он родом. Не город, а имение, где они жили. Надо было адрес записать, а после войны написать, ти жив он остался? Такой хороший человек! Нет, я не обратила внимание на адрес. Он мальчика показал:

— Вот, — говорит, — это мой сын, восемь лет, я его еще не видел.

### [Как наши пришли]

Как наши пришли, мы были в лесу. Сидим уже неделю, коров там пасли. Никто и никуда на деревню не ходит, ничего, чтоб всё было тихо. Костер раскладывали, чтоб есть сварить, дак и то пока светло, и то ветками прикрывали. Такой шалашик сделали, чтоб не видно огня было.

<sup>3</sup> Скорода, скородилка (ряз., тул., смл., вор.) — борона, смыка; скородить пашню — волочить, боронить [Даль 1991, 204].

Ну вот сидим. Сделали себе из хвои такой шалаш. <...> Все были там: и бабка с нами, и еще соседки — девка и старуха. Так мы такой большой шалаш сделали, брат мой Мишка, из елок. Дождик пойдет, с одного угла капает, мы в другой переползаем. А потом глянули — пожар! Влезли на дерево, поглядели, говорят:

— Горит наша деревня.

Даже определили, чьи дворы горят. Потом говорят на мамку:

— И ваш двор горит.

Она:

— Боже мой, Боже мой, что ж мы теперь будем делать?

Да. Ну стали бить наши с этой стороны, из Краснополья, на переправу. Уже заняли эту деревню. Мы с Мишкой коров пасли.

— Поползем к дороге поглядим, кто там — ти немцы едут, ти наши?

Кабы ж ума было! Поползли лесом на животе. Приползли. Я платье порвала и живот ободрали. Приползли, глянули — едут! Шапки с этими... и эти красные, погоны. Мишка говорит:

— Красные!

Я говорю:

— Нет, у наших погонов нет, это немцы.

Немцы с погонами. Оказывается ж, наши солдаты ти в 43-ем году, ти в 42-ом стали носить погоны, отличие, там лейтенант, кто? А то ж были раньше кубики, вот здесь на воротнике, кто там по званию.

Слыши, по-русски говорят. Так, ну что ж, наши значит. Приползли обратно в лес и говорим:

— Наши едут!

А там у нас был Марков, вот его дочка заваптекой в Ершичах.

— А вы откуда знаете?

— А мы сползли уже туда-обратно.

— Ай, вы что! Если б немцы, пристреляют иде-нибудь.

Ну ладно, пойдем в деревню теперь. Идем лесом. Речку перейти, там лесок и крайняя хата. А там-то, Федя вот что был Привалов, это его тетка жила, самая крайняя хата. А она говорит:

— У меня свинья опоросилась, девятнадцать поросят. Я, говорит, их в ямку загнала, — угол палили, там ямы такие делали. Раньше дровесный угол в деревне для кузницы жгли. Так она говорит: — Я в эту яму их согнала, травы поднакидала и картошек нарвала — усего, ти жива она там, ти не?

Пришли, до этой ямки доползли. Там поросята и свинья. Еще там травы нахватали, туды ей кинули. Вот солдат с винтовкой подходит.

— Дети, вы что здесь делаете?

А мы говорим:

— Свинью кормим. А ты кто такой?  
— Я русский.  
А Мишка говорит:  
— Покажи документы, что ты русский.  
Это ж ума было!  
— А если я украинец?  
— Нет, если ты наш.  
— Да ваш, ваш, — так он говорит. — Мы здесь уже давно. Здесь раненые в этой хате.

И выходит их начальник.

— Ой, дети, где вы?  
— В лесу.  
— Много ж вас там людей?  
— А почти вся деревня там.

Он говорит:

— Ну ладно, ночь сегодня поночуйте, не ходите, а то, может, кто его знает, видишь, бьют по нашим, можем еще и отступить. Так вы сидите там. Завтра уже утром, тогда будет видно: немец дальше пойдет, перестанут бить, тогда уж можете приходить.

Дали нам сахару, сухарей. Господи, а рады! Брать не во что, я платок с головы, гостиные в него увязала. Уже оттуда идем, не прячемся, бегом бегом.

— Опять у деревню ходили? — дед говорит.

— Да! Тетка Таня, твоя свинья жива и поросята живы, мы им травы кинули.

— А Боже, а деточки, так вы сходили в деревню?

— Да, сходили.

Всё, до утра уже никто не заснул, огонь горит, уже смело всё. Ну утром раненько, моросит, такой туман-туман, выходим на дорогу. Вот они — машины идут. Идут солдаты. А Божа мой! Встретились! Стали обниматься. Плакали. Солдаты плачут, и бабы плачут. Ну и всё, пошли. 27 сентября мы пришли из лесу.

Приходим в деревню. Пятнадцать дворов сгорело у нас. У дядьки хата сгорела рядом. Наши конопли побраны были — сгорели, а хата цела осталась. Но сарае только дыра выгорела. Крыша там гнилая была, проваливалась, дак она сгорела. А дом новый был, мы только что переехали. А они подпаливали, под сени подкладывали, дак там вот обгорел угол. Сени не загорелись, сырое дерево, так что осталось цело. Мы пришли, бабку свою привели. Господи, рады!

Заходим. А была солома, кули назывались, рожь как молотили целиком... То ж теперь машины, так поломают ее, а то раньше оставалась длинная солома, что крыши крыли. Было у нас 50 кулей, собирались крышу перекрывать. Дак немцы в хату ее наволокли, до самых окон настелили. Голов куриных не знаю, скоко там на загнетке было: они палили там и варили кур.

Я так дверь открыла, гляжу, а солдат сзади идет.

— Не бойся, не бойся, девочка, заходи.

Я говорю:

— Да, там, может, немец идет сидит.  
— Не, мы сегодня уже здесь ночевали, никого, — говорит, — уже здесь нет.

Ой, как дико в хате было, страшно. Скорей мамка печку затопила, я полы давай мыть. Говорим:

— Давайте лепешки аржаные печь.

А солдатик твой стоит, глядит и глядит. А мамка:

— Что ты, деточка, есть хочешь?

— Ой, бабушка, как я хочу есть. А уже три дня мы ничего не ели. Потому что немец идет быстро, а мы за ним бегим, а кухня отсталась где-то.

Ну давай им готовить есть. Картошки накопали, это ж сентябрь был. Накопали, наварили. Солдаты эти кто в котелок, кто в мешки набрали этих картох.

— Теперь, — говорят, — нам уже легче, люди стали в деревнях появляться. А то, — говорят, — идем, нигде наших людей нет, все по лесам попрятались. Как же это вы, — говорят, — догадались в лес уйти?

А я говорю:

— Немец нам один подсказал: идите на лес, силою чуть нас не погнал.

— Ну, — говорит, — спасибо скажите нашему немцу, что погнал вас у лес.

27 сентября мы пришли из лесу. Этот день на всю жизнь запомнили... Бабы говорили:

— Господи, если живы останемся, никогда этот день не будем работать, всё будем праздновать.

### Примечания

Веселова 2003 — Веселова И.С. Прагматика устного рассказа // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 534–543.

Даль 1989 — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1989.

Даль 1991 — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1991.

Домановский 1964 — Домановский Л.В. Устные рассказы // Русский фольклор Великой Отечественной войны. М.; Л., 1964. С. 194–239.

Емельянов 1960 — Емельянов Л.Н. Проблема художественности устного рассказа // Русский фольклор: Мат. и исслед. Вып. 5. М.; Л., 1960. С. 247–264.

Кожинов 1964 — Кожинов В.В. Роман — эпос нового времени // Теория литературы. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 97–172.

Минаева 2003 — Минаева А.П. «Наивная литература»: творчество и стереотипы // Традиционная культура. 2003. № 2. С. 68–74.

Неклюдов 2000 — Неклюдов С.Ю. Тексты «наивной литературы» // Живая старина. 2000. № 4. С. 2–3.

Разумова 2003 — Разумова И.А. Семейный фольклор // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 573–580.